



**В первые дни февраля 1837 года в Москву пришли горестные известия о тяжёлом ранении Александра Пушкина на дуэли и его кончине.**

4 февраля Боратынскому приехал Погодин. "Говорили о Пушкине и плакали", – записал потом Михаил Петрович в дневнике. На следующий день Боратынский отправил Вяземскому в Петербург крайне взволнованное письмо:

"Пишу к вам под громовым впечатлением, произведённым во мне и не во мне одним ужасною вестью о гибели Пушкина. Как русский, как товарищ, как семьянин скорблю и негодую. Мы лишились таланта первостепенного, может быть, ещё не достигшего своего полного развития, который совершил бы непредвиденное, если б разрешились сети, расставленные ему обстоятельствами, если б в последней, отчаянной его схватке с ними судьба преклонила весы свои в его пользу. Не могу выразить, что я чувствую; знаю только, что я потрясён глубоко и со слезами, ропотом, недоумением беспрестанно себя спрашиваю: зачем это так, а не иначе?"

Естественно ли, чтобы великий человек, в зрелых летах, погиб на поединке, как неосторожный мальчик? Сколько тут вины его собственной, чужой, несчастного предопределения? В какой внезапной неблагоприятности к возникающему голосу России Провидение отвело око своё от поэта, давно составлявшего её славу и ещё бывшего (что бы ни говорили злоба и зависть) её великою надеждою?"

Далее Боратынский пишет, как пришёл в скорбный час в дом Сергея Львовича Пушкина:

"Я навестил отца в ту самую минуту, как его уведомили о трагичном происшествии. Он, как безумный, долго не хотел верить. Наконец на общие весьма не убедительные увещания сказал: "Мне остаётся одно: молить Бога не отнять у меня памяти, чтоб я его не забыл". Это было произнесено с раздирающею ласково-стью".

"Есть люди в Москве, узнавшие об общественном бедствии с отвратительным равнодушием, – с возмущением заключает письмо Боратынский, – но участвующее поражённое большинство скоро принудит их к пристойному лицемерию".

Пушкин скончался 29 января. Накануне Пётр Андреевич Вяземский с женой, Верой Фёдоровной, были у него, в доме на Мойке: Пушкин, тяжело страдающий от боли, прощался с друзьями...

1 февраля поэта отпевали. Когда вынесли на руках гроб, Вяземский упал без сознания перед процессией; Жуковский поднял его – Вяземский рыдал и бился в его руках...

Он хотел сопроводить гроб с телом Пушкина на Покосившия в Святые Горы, но царь не позволил, отрядив для этого Александра Ивановича Тургенева, единственного из друзей поэта, не занятого по службе. С горя Вяземский слёг... А Тургенев повёл себя странно: поручение его обидело; кроме того, в одном из писем он посочувствовал убийце, который отдался разжалованном в солдаты и высылкой из страны: "Но несчастный спавшийся – не несчастнее ли?".

Вяземский же – мучился и нравственно. "Пушкин не был понят при жизни не только равнодушными к нему людьми, но и его друзьями, – осознал он. – Признаюсь и прошу в том прощения у его памяти".

7 февраля Екатерина Михайловна Хомякова (Языкова), молодая жена Алексея Хомякова, писала из Москвы сестре, Прасковье Михайловне Бестужевой:

"Здесь были Баратынские и сказывали, что жена Пушкина сошла с ума, и точно, есть с чего. Государь дал на его похороны 10 тысяч и 11 тысяч детям, которых даял под своё покровительство. Баратынский говорит, что благодеяния государя растрогали его до слёз. Честь ему и слава, что он умеет ценить таких людей, каков был Пушкин".

То же самое она сообщила и своему родному брату, поэту Николаю Михайловичу Языкову.

А в конце февраля Е.М. Хомякова написала П.М. Бестужевой, что Боратынский "стал ужасно пить". Муж, Алексей, заглянул к поэту и "нашёл его дома пьяным, ужасно жаль – 8 человек детей..."

По мнению А.М. Пескова, слова Хомяковой не стоит "принимать полностью всерьёз: она была склонна к преувеличению многих город-

ских новостей". Вполне убедительно: Екатерина Михайловне было всего двадцать лет; она, разумеется, по благовопитанности отнюдь не была любительницей слухов, но, видно, сильно обеспокоилась за детей: у страха глаза велики. Да и вряд ли она могла понять то, как горюет поэт о своём собрате...

В апреле Боратынский получил из Петербурга от Жуковского посмертную маску Пушкина; такая же маска была прислана отцу Пушкина, Сергею Львовичу, и другу, Павлу Воиновичу Нащокину.

Сохранилось письмо неизвестного лица к неизвестному же адресату от 6 мая 1837 года: "Третьего дня я был у Баратынского, он мне показывал маску Пушкина, снятую с него в день его смерти, она страшно похожа. Витали, который сделал очень похожий бюст Карла Брюллова, делает и бюст Пушкина. Говорят, это не так удачно. Баратынский говорил целый час о смерти Пушкина и о нём самом. Его стоило записывать. Он рассказывал все подробности этой истории, которые были ему сооб-



Валерий МИХАЙЛОВ

щени Жуковским, Вяземским и, наконец, доктором Далем, людьми достоверными.

Баратынский говорит, что он умер как христианин и во всём оправдывает Пушкина, а обвиняет его жену. Я верю всему, потому что было замечто, что он и жены его не хотел обвинять из уважения к нему".

Прошло несколько месяцев – а скорбь о погибшем друге не стала меньше...

Остаётся только пожалеть, что этот неизвестный не записал слов поэта о Пушкине. Но и того, что высказано самим Боратынским в письмах, вполне хватает, чтобы понять, как высоко он ценил гений Пушкина и как любил его.

В молодости они вместе с Дельвигом и Кюхельбекером были собратьями по Союзу поэтов, – и Боратынский не изменил этому братству. В пору пушкинского расцвета, вершины которого было создание "Бориса Годунова", никто иной, как Боратынский предугадал, ещё даже не прочитав трагедии, что она исполнена красот необыкновенных, и обратился к другу с пламенной, торжественной речью:

"Иди, довершай начатое, ты, в ком поселился гений! Возведи русскую поэзию на ту степень между поэзиями всех народов, на которую Пётр Великий возвёл Россию между державами. Соверши один, что он совершил держав; а наше дело – признательность и удивление".

Это написано в декабре 1825 года. Высокопарно? Да!..

Но вспомним, что слово это соединяет два другие – *высоко парит*: духом, разумом, вдохновением, – то есть взлететь над сиюминутным и разом схватить смысл и сущность явления.

Теперь-то, по прошествии двух веков, очевидно, что эти слова Боратынского были пророческими, что никто лучше его не осознал тогда истинного значения Пушкина в истории русского духа и русской словесности. А ведь Евгению Боратынскому было в то время всего 25 лет, да и Александр Пушкин был всего на год старше...

"В самом деле примечательно, – замечает Гейр Хетсо, – что высказывание это исходит от Боратынского, которого многие ставили наравне с Пушкиным! Но сам Баратынский весьма далёк от мысли сравнивать себя с Пушкиным. Ему с самого начала было ясно, что к Пушкину надо подходить с другой меркой, чем ко всем остальным писателям. Даже когда он позволял себе критиковать *Евгения Онегина*, исходя из требования писательской оригинальности, он ясно сознаёт, что ему "весьма нехотати строго критиковать Пушкина".

То чувство уважения и восхищения перед Пушкиным <...> вряд ли могло возникнуть от зависти к сопернику. И ничто не указывало на то, что уважение Баратынского к Пушкину с годами уменьшилось. Напротив, оно становилось всё сильнее".

Боратынский был всего годом младше Пушкина, но однажды признался ему в письме,

что пишет к нему с тем затруднением, с которым обыкновенно пишут "к старшим". Это не иначе как следствие того внутреннего благоговения, которое он невольно испытывал к поэтическому дару Пушкина и его творениям. По-видимому, то же самое испытывал Боратынский и при личных встречах, несмотря на самые короткие товарищеские отношения. "Пушкин здесь и я ему отдал ваш поклон, – писал он Вяземскому в 1829 году. – <...> Я с ним часто вижусь, но вы нам очень недостаёте. Как-то из нас двух ничего не выходит, как из двух мафематических линий. Необходимо третья, чтобы составить какую-нибудь фигуру, и вы были ею".

С годами они встречались всё реже, от случая к случаю, и, понятное дело, несколько отдалились друг от друга. У обоих появились свои семьи и хватало житейских забот; каждый шёл своим путём в литературе. Что до личных взаимоотношений, они не прерывались, но, естественно, не могли остаться такими, как в беспечной молодости. Чувства – вещь чрезвычайно тонкая, переменчивая, тут всё – по наитию, по настроению, по прихотям памяти, по стечению обстоятельств места и времени.

Но одно дело жизнь – и совсем другое по-

тому времени породнились: друг его финляндской молодости, к радости поэта, женился на его свояченице, Сониче Энгельгардт, и у них уже подрастала малышка дочь. Вскоре Боратынский побывал в гостях у Жуковского: вместе они разбирали ненапечатанные стихи Пушкина. Боратынский был потрясён, когда прочёл их: "Есть красоты удивительной, вовсе новых и духом и формою, – писал он жене, Настасье Львовне, 6 февраля. – Все последние пьесы его отличаются, чем бы ты думала? Силою и глубиной! Он только что созрел. *Что мы сделали, Россияне, и кого погребли!*" – слова Феофана на погребение Петра Великого. У меня несколько раз навёртывались слёзы художнического энтузиазма и горького сожаления".

Эти скорбные и торжественные – *высокопарные* – слова звучат посреди в общем-то бытового отчёта жене о прожитом дне. Снова, как и в 1825 году, Боратынским сравнивает Пушкина с Петром Великим.

Николай Васильевич Путятя вспоминал, что Жуковский, коему государь поручил разобрать бумаги Пушкина, дал тогда Боратынскому одну из рукописных тетрадей in folio в переплёте. В ней был и неизвестный поэту набросок статьи о нём. "Тетрадь эта оставалась у по-

следнего самое короткое время; он был уже в отъезде и просил меня тотчас возвратить её Жуковскому, что я и исполнил. Кроме упомянутого отрывка, в этой тетради находились не-



которые другие статьи в прозе и клочки дневника Пушкина разных годов. Помню из него почти слово в слово следующие места: 1) число, месяц, "Сегодня приехали в Петербург два француза, Дантез и маркиз Пинна". В этот день ничего более не было записано. Что замечательного мог найти Пушкин в их приезде? Это похоже на какое-то предчувствие!"

7 февраля Боратынский провёл утро с Вяземским: говорили о Пушкине. Вяземский предложил ему навестить вдову поэта, сказав, что она очень признательна всем старым друзьям мужа, которые посещают его дом. Боратынский намеревался это сделать, но вскоре повстречал Наталью Николаевну в салоне Карамзиных.

"Вяземский меня к ней подвёл, и мы возобновили знакомство, – сообщал он жене. – Всё также прелестна и много выиграла от привычки к свету. Говорит ни умно ни глупо, но свободно. Общий тон общества истинно удовлетворяет идеалу, который составляешь себе о самом изящном, в молодости по книгам. Полная непринуждённость и учтивость, обратившиеся в нравственное чувство. В Москве об этом не имеют понятия".

По приезду Боратынский писал к маменьке в Мару, что возвратился из Петербурга в лучшем настроении, нежели мог ожидать. Откуда это настроение? Не от новых ли стихов Пушкина и той недописанной пушкинской статьи о

поэзии Боратынского?..

Нет сомнений в том, что Боратынский всегда относился к Пушкину с любовным уважением, даже когда порой критически высказывался в своих письмах о его творчестве. То была не завистливая ревность к товарищу по перу, свойственная тщеславным писателям мелкого разбора, а ревностная любовь к собрату по Парнасу. От гениально одарённого он и ждал гениальных сочинений, оттого был особенно требовательным. Зато и восхищался гением, как никто другой.

Поздний Пушкин, прежде неизвестный Боратынскому, что предстал перед ним в феврале 1840 года в Петербурге, восхитил как никогда. Он увидел поэта, достигшего истинных высот духа и мастерства, познавшего жизнь вполне, с мужеством и смиренном христианстве, на принимающего всё, что посылает ему судьба. *Вовсе новые духом и формою* стихи Пушкина были необыкновенно созвучны и его собственным мыслям и настроениям. "Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит...", "Не дай мне Бог сойти с ума...", "Отцы пустынноики и жёны непорочны...", "Напрасно я бегу к сионским высотам...", "Когда за городом задумчив я брожу...", "Из Пиндемонти" ("Не дорого ценю я громкие права..."), "Подражание итальянскому" ("Как с древа сорвался предатель ученик..."), "Памятник", "Мирская власть" – все эти шедевры Пушкин хранил только для себя и не отдавал в печать, на пустое любопытство досужей толпы, которая всё равно толком ничего не поймёт.

Боратынский осознал эти стихи как поэтическое завещание русского гения, при жизни не понятому по-настоящему никому.

Отвратительное равнодушие части общества к погибшему Пушкину мучило его и вызывало возмущение. Это отразилось в заключительных строках стихотворения "Осень", которое поэт дописывал в феврале 1837 года: *...Но не найдёт отзыва тот глагол, Что страстно земное перешёл.*

Пушкaй, приняв нeпpавильный полёт

И вcпaть cтeзи нe обрeтaя,

Звeздa нeбeс в бeзднoнocть утeчёт;

Пуcть зaмeнит её дpyгaя;

He яcтвует зeмлe уcщeрб oднoй,

He пoрaжaeт уxo мирa

Пaдeния её далёкий вoй,

Рaвнo кaк в вoыcотax эфирa

Её cecтpы вoсpoждённый cвeт

И бeсacм вocтopжённый пpивeт!

В 1841 году ему припомнились народные гуляния в Новинском под Москвой: там они были с Пушкиным в сентябре 1826-го, когда тот вернулся из псковской ссылки. Нарядная толпа разглядывала знаменитого поэта... а вот когда он погиб – далеко не все пожалели его. Боратынский заново переработал своё старое стихотворение, посвящённое другу. В первом варианте, 1826 года, "красота" своей улыбой оживляет поэта, – в новых стихах всё загадочней, и, даже если речь по-прежнему о красоте, она оказывается – роковой, губительной. Но, может, тут говорится уже о судьбе?..

Она улыбку своей

Поэта в жертвы пригласила,

Но не любовь ответом ей,

Взор ясный думой осенила.

Нет, это был сей лёгкий сон,

Сей тонкий сон воображенья,

Что посылает Аполлон

На для любви – для вдохновенья.

А ещё через два года Боратынский написал одно из самых горьких своих стихотворений – о помертвевшей судьбе поэта. О ком оно?.. то ли о Пушкине, то ли о себе самом... *Когда твой голос, о поэт, Смерть в высших звуках остановит, Когда тебя во цвете лет Нетерпеливый рок уловит, –*

Кого закат могучих дней

Во злубине сердечной тронет?

Кто в отзвье гибели твоей

Стеснённой грудью восстанет,

И тихий зрб твой посетит,

И, над умокшей Аонидой

Рыдая, пепел твой почтит

Нелицемерной панихидой?

Никто! Но сложится певцу

Какою нашедшимся золотом,

Уже кающим мертвецу,

Чтобы живых задеть кадилом.

## МОЙ ПУТЬ

Я там ходил, где быть опасно,  
И не ходил в ненастье вспасть,  
Но не имел в душе соблазна  
Себя героем выставлать.

Живя с эпохой бок о бок,  
Я упрекал себя не раз,  
Что был в дерзняхх часто робок,  
Сдавал позиции подчас.

Хотя в избытке беспокойства  
В дни испытаний не молчал,  
Однако признаков геройства  
Я у себя не замечал.

Носить случалось ноши по две  
Во имя правды и любви,  
Но не считал, что это подвиг,  
Был просто честен пред людьми.

## КРЫМ

Снят трезубец украинский,  
Здесь нектати больше он.  
Трикопор родной российский  
Вновь над Крымом водружён.

И полны морской отваги  
Неизменно, как всегда,  
Все андреевские флаги  
Гордо реют на судах.

Укрепляет разум силу,  
Наше сердце веселя,  
Возвращается в Россию  
Наша крымская земля.

Откликается нам эхом  
Крым историй своей.  
Здесь и Пушкин, в ней и Чехов  
И страда военных дней.

Крым – земля людей отважных.  
Всё в нём ладно, все всерьёз.  
Побывал я в нём однажды,  
Но в душе с собой увёз.

## ХРАМ ПОКРОВА

Хочу в былое  
пристальной вглядеться,



Но вспоминаю многое с трудом.  
В конце войны и на исходе детства  
Меня судьба забросила в детдом.

Он на соседнем острове с Кижамы  
Открыт был властью  
для детей-сирот

Тот славный остров  
чтут заонежане,  
Сказителей там жил старинный род.

Танулось время –  
день на день похожий.  
В глазах тоска у каждого сквозит.

Решил директор  
как-то в день погожий  
Нас в Кизи на экскурсию свозить.

Мы в старшей группе  
были одноклассники  
И радовались дружно от души.

И с завистью вслед уходящей лодке  
Смотрели молчаливо малыши.

А в Кижам там тропинкою окольной  
Мы всей гурьбой к погосту подошли  
И стали любоваться колокольней,  
Жалея,

что взобраться не могли...

А в главном храме игры училили,  
И с эхом забавлялись в полутьме.

Но красоту его не оценили  
По глупости, душевной простоте.

Нам этот опыт позже пригодился,  
Когда на зрелость обрели права,  
А вечером смогли мы породниться  
Душой и телом с храмом Покрова.

Садилось солнце,  
лик свой ясный хмурия,  
Ударил гром, чтоб небо расколот,

И глядь Онега всколыхнула буря  
Такая, что не приведи господь,

И мы нашли приют  
под крышей храма  
Среди ликов уцелевших на стене,  
А дождь по крыше молотил упрямо,  
Как страдный стук  
молотыбы на гумне.

Директор не терял своей осанки,  
И сами мы держались, как могли.  
А вскоре сердобольные крестьянки  
Нам в трапезную снеди принесли.

Мы на широких лавках  
сладко спали  
С избыточной усталостью к тому ж,  
И ангелы во сне средь нас летали  
И охраняли святость наших душ.

А утром божий свет едва пробился  
К нам в трапезную в узкое окно,  
И каждый словно заново родился  
И был ему счастливым суждено.

Ещё сверкала пена от прибоя,  
Напомяная нам ночную жуть,  
А озеро своей голубизною  
Нас призывало на обратный путь.

## СЛОВА

Их сотни раз произносили  
В дни общих бед или торжеств,

Но остаются в прежней силе  
Их смысл и звука каждый жест.

Скажу и в-третьих,  
и в-четвёртых,

И повторять я буду вновь,  
Нет слов унылых и затёртых,  
Когда вдыхаешь в них любовь.

Звучат на дружеских пирушках  
И в песне, где привольно жить.  
Им в мальчишках на побегушках  
Порой приходится служить.

## Живая прелесть первородства

Тогда мы видим, как непросто  
Их сохранить и передать  
Живую прелесть первородства  
И вековую благодать.

К ним, как к священному колодцу,  
Я припадаю с давних пор.  
Но есть среди них слова-уродцы,  
О чём особый разговор.

## МИХАИЛ ЛЕРМОНТОВ

Он молнию из слова высекал,  
Стальным клинком  
его звучала фраза.

Поэта голос эхом между скал  
Звучит в ущельях древнего Кавказа.

Он в отпуск, нетерпением томим,  
Летит сквозь ветер.  
Плечи греет бурка,  
Распахивают двери перед ним  
Все лучшие салоны Петербурга.

Он на паркетных витязей глядел  
Угрюмым взором, но душою светел.  
К балам великосветским охладел  
С их пустотой и пустотой сплетен.

Поручик,  
то есть старший лейтенант,  
Ему востока дух казался близким.

И, слава богу, что его талант  
Ещё при жизни оценил Белинский.

Он горному орлу душой сродни  
Поднялся над эпохой, мыслью вея,  
А между тем его земные дни  
Отсчитывало равнодушно время.

## ВЫСТРЕЛ

Я снова читал до рассвета  
Стихи его, словно дневник.  
О жизни и смерти поэта  
Написано множество книг.

И валится книга из рук.

Я все перечту их, но буду  
На факты смотреть свысока  
И верить нелепому чуду,  
Что пуля ушла в облака...

И всё же когда воскресает  
Пред мысленным взором Машук  
Мне душу

тот выстрел пронзает,  
И валится книга из рук.

## КАРЕЛИЯ

Карелия моя лесная,  
Страна озёрная моя.  
Так о тебе сказав, я знаю,  
Не только в этом суть твоя.

При этом буду только краем  
Ходить у правды наяву,  
Когда тебя былинным краем  
По правде сердца назову.

И никогда твой образ главный  
Не дорисую до конца  
Без луговых просторов Ладвы,  
Равнин седого Олонца.

Без синей Ладоги безбрежья,  
В себе вместившей небосвод,  
Без зорь родного Заонежья,  
Над синевой онежских вод.